

---

предназначены для создания хорошего отношения клиентов к фирме и предлагаемому туристскому продукту, а также для его запоминания, что может повысить ценность продукта.

**Использованная литература:**

1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание. Киев: Альтерпресс, 2002.
2. Бычкова О. И., Кухарева К. И., Мастобаева П. А. Особенности предпринимательской деятельности в социальной сфере // Психология. Экономика. Право. 2013. № 2. С. 58–64.
3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». URL: <http://base.garant.ru/136248/1/#ixzz30GcH0Ss0> (дата обращения 26.06.14).

**Marketing in Travel Services**

GRIBANOVSKAYA Marina V., Cand. Sci. (Library Science, Bibliography and Bibliology),  
Assoc. Prof., Department of Economics and Management,  
Krasnodar State University of Culture and Arts, Krasnodar, Russia  
E-mail: grmarina@email.ru

KOSTINA Natalia A., Cand. Sci. (Library Science, Bibliography and Bibliology),  
Assoc. Prof., Leading Researcher,  
Department of Scientific and Educational Projects and Programs,  
Southern Branch of the Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage  
Krasnodar, Russia  
E-mail: kostnat72@mail.ru

*The article deals with a set of measures to promote the tourism product, which is designed to create a good customer relations to the company and offers tourist product, as well as his memory that can add value to the product.*

**Keywords:** *marketing, marketing mix, promotion of goods and services, tourism product, tourism industry.*

*А. П. Люсый\**

**ДИСКУС-ТУРИСТИКА:  
О ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ**

*Первая сохранившаяся надпись на древнерусском языке (Тмутараканский камень, 1068) трактуется как выражение ритуала нумерологической,*

---

\* ЛЮСЫЙ Александр Павлович, кандидат культурологии, старший научный сотрудник отдела фундаментальных исследований культуры Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, г. Москва, Россия. Электронная почта: [allyus1@gmail.com](mailto:allyus1@gmail.com).

*текстологической и, в определенной мере, туристической инициации, а локальный текст культуры – как общая схема непрерывного паломничества в пространстве и времени, нередко приобретающая дискуссионную форму. На историко-литературном материале показано, что текстологическое измерение туризма придает вертикальное измерение пространственной структуре, а туристическая рефлексия придает динамику локальному тексту культуры.*

**Ключевые слова:** туристическая рефлексия, ментальная карта, семиозис, семантические войны, локальный текст, медиализация, идентичность.

Уже первая сохранившаяся надпись на древнерусском языке (Тмутараканский камень, 1068) обладала определенным путеводительным качеством, устанавливая способ взаимодействия атипичных пространств особых конфигураций: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен». Так переход через Керченский пролив стал характерным для гетеротопического стыка пространственным ритуалом нумерологической, текстологической и, в определенной мере, туристической инициации.

Тяга к соприсутствию, пишет Д. Урри в работе «Взгляд туриста и глобализация», почти всегда подталкивает человека путешествовать по более или менее иным территориям, заставляет стремиться к визуально отличающимся пейзажам или к «живым» событиям, покорять определенную вершину, блуждать «одиоко, словно облако», переправляться по бурлящей воде на плоту и т. д. И такие телесно опосредованные практики возможны только в специфическом, специализированном «месте для досуга», географически и онтологически отдаленном от работы и дома. «Действительно, привлекательность подобных мест, где можно почувствовать, что тело физически живо, “естественно” или молодо, отчасти связана с тем, что они ощущаются как “другие”, отличаются от повседневной рутины и знакомых картин. В своей работе Дж. Ринг описывает, как Альпы в девятнадцатом веке были преобразованы именно в такое специализированное пространство, где английский джентльмен мог почувствовать себя по-настоящему живым» [16, с. 69].

Примерно в это же время такими местами преобразования российского взгляда и сознания стали Крым и Кавказ. К. Юнг в статье «Психология и поэтическое творчество» выделил психологический и визионерский типы творчества (рассматривая первый лишь как «своего рода затакт к единственно важной, “божественной комедии”»). «Художественное произведение такого рода представляет собой не единственное порождение ночной сферы. К ней приближаются также духовидцы и пророки, как это отчетливо выразил Блаженный Августин: “<...> И мы поднимаемся еще выше в нашем внутреннем размышлении, рассуждении о делах Твоих, и мы верим в пространство наших умов, и

проходим через них, чтобы достичь области непреходящего изобилия <...>»». Этот путешественник по архетипическим и мифологическим основаниям мира так комментировал обращения поэта к мифам: «Представлять себе дело так, будто он просто работает при этом в доставшемся ему по наследству материале, значило бы все исказить; на деле он творит, исходя из первопереживания, темное естество которого нуждается в мифологических образах и потому жадно тянется к нам, как к чему-то родственному, дабы выразить себя через них. Первопереживание лишено слов и форм, ибо это есть видение “в темном зеркале”» [19, с. 184].

Дополняя вертикальную структуру архетипической психологии горизонтальными положениями до-психологической географии, Д. Хиллман писал: «“Юг” означает не только этническое, культурное, географическое местоположение, но и символическое тоже. “Юг” – это культура Средиземноморья, ее образы, оригинальные произведения, боги, богини, мифы, трагические и плутовские жанры (в отличие от эпического героизма “Севера”»» [17, с. 86]. Таврида – типичный «южный» поэтический миф, полный разнообразных «первопереживаний». М. Эпштейн отнес этот миф, вместе с его онтологической основой, к «классической», уравновешенной разновидности, в противоположность «романтической» кавказской, полной чрезмерностей и напряженностей. «Кавказ возвышен. Крым прекрасен, в том именно смысле, в каком различала эти понятия старинная эстетика: прекрасное – это уравновешенность, вылепленность всей сущности; возвышенное – всплеск содержания за пределы формы, устремленность в невозможное, необозримое... “Ужасы, красы природы” – так определял противоречивую сущность Кавказа Державин (“На возвращение графа Зубова из Персии”»» [18, с. 167].

Такая схема в известной степени была бы оправданной, если ограничиться сопоставлением пушкинских стихотворных строк насчет «свирепого веселья», «волнистой мглы» и мятежных горцев Кавказа – и «моря блеска лазурного», «ясных, как радость, небес» и «простых татар семей» в Крыму. Однако литературный контекст в целом демонстрирует, что поэтические «первопечатления» зависят не столько от самих по себе природных красот, сколько от структуры привносимого извне взгляда. Младший современник Г. Державина, представитель «ночного» преромантизма С. Бобров, которому ниже будет посвящен особый раздел, именно в Крыму был потрясен «священными ужасами природы». Эти «ужасы» он преобразовал в заключительную часть своего четырехтомного собрания сочинений с характерным названием «Рассвет полночи».

Оппозиция Север – Юг стала символом культурологических исканий пушкинской эпохи. Эпитет «северный» стал тогда постоянным в названиях литературных периодических и непериодических изданий:

«Северная пчела», «Северный Меркурий», «Северные цветы», «Северная лира», «Северный архив». В философском очерке Батюшкова «Вечер у Кантемира» (1816) Север, несмотря на временную культурную неразвитость, обещает великое будущее. У Батюшкова оппоненты Кантемира Монтескье и аббат Вуазенон иронизируют, что «имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов», которые «читают «Персидские письма» при свете лампы, налитой рыбьим жиром... или при свете северного сияния...». Кантемир принужден согласиться (что не читают). Однако Пушкин в своем «Памятнике» выразил уверенность, что среди его будущих читателей появятся и такие. «Здесь лирой северной пустыни оглашая...», – охарактеризовал себя Пушкин в послании «К Овидию» (1821). А в статье «О народности в литературе» (1825) он писал: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».

Революционные потрясения в Европе, которые начались в 1789 г., прибавили оппозиции Север – Юг новое измерение. «На Юге (во Франции) – разгул страстей, гибель просвещения; на Севере (в России) – владычество закона, благодетельное спокойствие, сдержанность. “На Юге меркнул день – у нас он рассветал. / Там предрассудков меч и светоч возмущенью / Грозилась ринуть в прах святыню просвещенья. / Убежищем ему был Север...” (П. А. Вяземский, “Петербург”))» [11, с. 201]. И на этом фоне известная стихотворная полемика Пушкина с Вяземским, итогом которой стало утверждение Пушкина: «На всех стихиях человек / Тиран, предатель или узник», – приобретает дополнительный смысл.

Отметим, что к началу XX в. изначальные понимания слов «полночь» как «север» и полунощный как «северный» были основательно забыты. Г. Поспелов подробно описывает один эпизод из времен дягилевских сезонов 1910-х гг. Когда 20 декабря 1915 г. в Женеве состоялась премьера балета на музыку Н. А. Римского-Корсакова «Le soleil de minuit», т. е. «Солнце полуночи», «название было воспринято публикой как оксюморон, а между тем это был результат элементарной ошибки переводчика. Дягилев предложил название “Полуночно солнце”, что означало не что иное, как “Солнце Севера”. Вспомним у Пушкина: “Прошло сто лет, и юный град, полнощных стран краса и диво”, или “Когда полнощная царица дарует сына в царский дом”. Полнощная царица – не царица полночи, а царица северных стран. Правильным переводом названия балета на французский было бы: “Le soleil boreal”. Перевод, по всей видимости, был сделан в отсутствие Дягилева, а когда он спохватился, перепечатывать программу было и поздно, и дорого. Почти сразу же возник и другой вариант названия: “Le soleil de nuit”, т. е. “Солнце ночи”, которое тоже оказалось распространенным, переходя даже и в русскую литературу, посвященную дягилевским балетам» [12, с. 290].

В пушкинскую же эпоху слова «полнощный» и «полуденный», будучи уже несколько устаревшими, все же продолжали оставаться в числе популярнейших, буквально не сходя со страниц разных изданий, не покидая стихи. Пушкин в ранний период своего творчества пользовался этими выражениями, как бы любясь ими со стороны, играя, как приметам архаичного слога. В «Руслане и Людмиле» старый финн рекомендовал Руслану: «Свой путь на полночь пробивай». И так раскрывал ему местонахождение обидчика: «...Твой оскорбитель / Волшебник страшный Черномор, / Красавиц давний похититель, / Полнощных обитатель гор».

Но еще более любимым стало выражение «полуденный», всплывшее при первом поэтическом озарении в Крыму:

*Я вижу берег отделенный,  
Земли полуденной волшебные края,  
С волненьем и тоской туда стремлюся я,  
Воспоминаньем упоенный...*

По мнению Г. Пospelова, эти понятия были знаком двух кардинально разных мировосприятий, органично соединившихся в сознании Пушкина [12, с. 291]. В начале XIX в., как и во второй половине XVIII ст., мир обычно рассматривался как нечто устойчивое и гармонично отстроенное. Однако с 1820–1830-х гг., считает Г. Пospelов (мы, впрочем, отодвинули бы начало этого явления на 10–20 лет ранее), гармония все более меркла. Так утверждалась эпоха историзма, вполне восторжествовавшего в последующие десятилетия.

Пушкинское мировоззрение являло собой уникальный синтез этих двух эпох. Основывалось оно на самосознании уходящей эпохи, откуда были взяты мера и свет мироощущения. Однако начиная с «Бориса Годунова» начинает складываться и пушкинский историзм, с представлением о темной стихии народной истории. Каков механизм подобного синтеза, какова та почва, на которой могли соединиться столь отличные отношения к миру?

«Первичная стадия в развитии природы – стадия дикости и хаоса. Как правило, это природа дикого Севера, однако отнюдь не всегда. Щедрин в пейзажах начала 1820-х гг. умел показать эту природную ступень на картинах итальянской природы. Я имею в виду несколько пейзажей с изображением водопадов. Художника увлекает вид неукротимых стихий – расселины скал, покрывающая их зелень, текущая или падающая вода, массы дикого камня. В “Водопадах в Тиволи” 1822 г. скалистая речка вторгается в недра горного кряжа, как бы разверстые водным потоком. Еще более патетичная картина борьбы поросших зеленью скал и текущей воды – “Водопады в Тиволи” 1823 г. Ни одна, ни

другая стихии не выглядят укрощенными! Потоки воды низвергаются со скалистых высот, а сами скалы вздымают кверху уступы, поросшие зеленой “дичью”.

Но в основном, повторю, природа на стадии молодого хаоса – это природа северных стран – те “хладные финские скалы”, о которых позднее упомянет Пушкин» [12, с. 292–293].

Однако позднее Пушкин отметит и иные черты полнощной природы, не сводимые к простирающимся до небес грозным скалам или низвергающимся с них водопадам. К примеру, тот же Петербург построен в местах, «где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один, у низких берегов, бросал в неведомые воды свой ветхий невод». «Здесь каждый эпитет – четкая мысль. Человек в полнощных краях – не сын, но пасынок природы, вдобавок пасынок печальный. Его невод – ветхий, окружающие его воды – неведомый» [12, с. 293].

Итак, жизнь полнощной природы и человеческое бытие в ней могут быть величавыми и бурными, но тут можно и прозябать в пустынности и забвении. Что же касается природного полдня, то это природа счастливого Юга. Однако полдневный край не сводим только к южному солнцу. «В пустыне, чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной», солнца еще больше, чем в Тавриде, но никто не станет называть и такие пустыни «полуденным краем». Полуденный край – это место, где природа в своих тысячелетних формированиях достигает величайшего успокоения. Нагромождения гор уступают место некоторой сглаженности рельефа потоками тысячелетий. Их вознесенность к самому небу сменяется живым согласием с земными и морскими просторами. Седые, ниспадающие с крутых вершин, водопады сменяются укрощенными прибрежными волнами, ласково плещущими у ног.

Так что полдень природы не что иное, как достигнутое равновесие противоположных стихий. «Гармония начинается тогда, когда мы отчетливо ощущаем границы разных начал. В неаполитанских пейзажах Щедрина середины 1820-х гг. перед нами края, где наступление скал приостановлено морем, а наступление моря – очертаниями древней земли, веками живущей в союзе с морем. Видно, как берег вдается в море крутыми или отлогими мысами, постепенно удаляющимися к горизонту, а между ними с такой же правильностью вдаются морские заливы. Каменистые мысы и бухты ощутимо уравнивают друг друга, причем у кромки камней и волн одинаково успокаиваются и камни, и волны.

Пушкин, никогда не бывавший в Италии, умел находить полуденные края на юге России. “Я помню твой восход, знакомое светило, над мирною страной, где все для сердца мило, где стройны тополи в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны”. Но все же в Италии – на пейзажах Щедрина – жизнь людей в полуденном крае предстает намного нагляднее.

В то время как финский рыболов у Пушкина терялся в пустынных просторах, итальянские рыбаки живут в пространстве обжитой бухты. Окружающие их прибрежные воды – никак не неведомые, напротив, знаемые многими поколениями рыбаков, и сами они – не печальные пасынки природы, но ее счастливые сыновья» [12, с. 293].

«Сердцевину глобальной культуры, – вернемся к упомянутой статье Д. Урри, – составляет множество взглядов, практически вездесущих в своем ужасном непрерывном бодрствовании. При этом виды мобильности, физической, воображаемой и виртуальной, добровольной и вынужденной не поддаются исчислению. Кроме того, значительно меньше «туризма» как такового существует в пределах специфического обособленного времени-пространства; это своеобразный «конец туризма» внутри более общей «экономики знаков». Увеличивается сходство между поведением человека «дома» и «не дома» [16, с. 71].

Места туризма стремительно распространяются по земному шару в связи с массовым проникновением средств медиа в туристическую среду. Территория повседневной жизни перестраивается под «туристские» образцы, равно как и многие участки окружающей среды. Мобильность становится все более значимым фактором в самоидентификации молодежи, и выходцев из диаспор, и пожилых обеспеченных людей, которые могут позволить себе жизнь в движении. И «туристическая рефлексия», пусть и раздражая нас, ведет к тому, что практически каждое место получает шанс занять свою нишу в водовороте контуров складывающегося глобального порядка [24].

В то же время чисто туристическая текстологическая рефлексия продуцирует как «тексты знания», так и «тексты незнания» (или сознательного игнорирования?), создавая их своеобразные коалиции. Организаторов конференции «Крымский текст в русской культуре» в 2006 г. в Институте русской литературы (Пушкинский дом), которая была и одноименной, и альтернативной монографии автора этих строк, можно охарактеризовать не иначе, как текстуальную Антанту – Пушкинский дом, Санкт-Петербургский университет и Сорбонна. В пику ей выступил своеобразный Тройственный союз в составе Института Лотмана при Бохумском университете (Германия), Института Европейских культур (при РГГУ) и Таврического национального университета. Их стараниями в сентябре 2006 г. в Крыму была проведена Международная летняя школа, тоже задавшаяся вопросом: «Существует ли Крымский текст?» (на коммерческих основаниях). Это один из конкретных примеров складывающейся в «театре семантических войн» новой картографии связей и системе координат (можно сказать, открытого поля действия с его простором для лексических набегов). Во всяком случае, беру на себя смелость констатировать факт первой мировой крымской семантической войны [8, с. 97–105].

Закреплением текстологических завоеваний новой текстологической «Антанты» стал сборник «Крымский текст: материалы международной научной конференции» (4–6 сентября 2006 г., Санкт-Петербург). В сборнике помещено немало любопытных историко-литературных материалов, но лишь одна из статей соответствует сделанной в его названии концептуальной заявке. При этом становится очевидным, куда и против кого данная заявка «заточена».

«Понятие “Крымский текст” ввел в научный оборот А. П. Люсый. Но ответа на вопрос о специфике этого пространства как локального он не дал, – утверждает М. В. Строганов в статье «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических (и не только Пушкин)...»». А кто – дал?

«Крым – это, во-первых, сад, а во-вторых, курорт. В культуре XIX в. и наследующей ей традиции это в первую очередь экзотический сад, часто даже – райский сад. В культуре XX в. – это по преимуществу курорт. Прежние приезжие днем путешествовали по Крыму, нынешние валяются на пляже. Прежние приезжие по ночам писали записки, нынешние занимаются менее интеллектуальным, зато всем (в той или иной степени) доступным делом», – формулирует сам М. В. Строганов структуру искомой специфики, ссылаясь на Максимилиана Волошина. «Волошин утверждал, что русские художники, как правило, воспринимали Крым с точки зрения туристов. А. П. Люсый, который процитировал эти слова, не обратил на них должного внимания». Имеется в виду следующий пассаж М. Волошина: «Отношение русских художников к Крыму было отношением туристов, просматривающих прославленные своей живописностью места. Этот тон был задан Пушкиным, и после него в течение целого столетия поэты и живописцы видели в Крыму только: «Волшебный край – очей отрада».

И ничего более. Таковы все русские стихи и картины, написанные за XIX век. Все они славят красоты южного берега, и восклицательных знаков в стихах так же много, как в картинах тощих ялтинских кипарисов. Среди этих гостей бывали, несомненно, и очень талантливые, но совершенно не связанные ни с землею, ни с прошлым Крымом, а потому слепые и глухие к той трагической земле, по которой они ступали» [5, с. 217].

Это высказывание постоянно находится в области внимания автора, в результате чего был сформулирован вывод, что этот поэт не только критиковал предшественников за «туристичность» и «курортность» их крымского подхода, но и «позитивно» изменил саму парадигму Крымского текста. То есть предложил в противовес текстопорождающему «внешнему» мифу Тавриды «внутренний» миф Киммерии (в котором не все сводилось к пресловутому «обормотству»). «Вот эта опаленная и неуютная земля, изъеденная щелочью всех культур и рас, прошедших по



ней, осеянная безымянными камнями засыпанных фундаментов, нашла в себе силы, чтобы процвести в русском искусстве самостоятельной – “Киммерийской” школой пейзажа», – осмысливает М. Волошин это пространство «изнутри» [5, с. 217].

Благодаря Волошину Крымский текст как бы возвращался к его истокам, к его «отцу-основателю» Семену Боброву, набросавшему такую схему:

*Художник, – рудослов, – певец,  
Мудрец, писатель, – фармацевтик, –  
Друид, – пустынный и любовник, –  
Пастух, – философ, – самодержец, –  
Несчастный и счастливый смертный, –  
Все здесь найдут изящную область.  
Волошинская Киммерия — крымская литургия!*

Упорно стремясь сбросить капитана Боброва с текстуального парохода современности, М. В. Строганов по-своему переиначивает хронологию путешествия по Крыму своего любимого «странной любовью» поэта: «Пушкин реализовал в Крыму оба типа крымского поведения (недаром он “наше все”). Сначала (? – А. Л.) он пожил курортником в Гурзуфе с 19 августа по 5 сентября, купаясь в море, наслаждаясь виноградом и солнцем; недаром именно с Гурзуфом связана вполне курортная легенда о том, как он подсматривал за купающимися барышнями Раевскими. Потом вместе с Н. Н. Раевским-старшим и Н. Н. Раевским-младшим Пушкин проехался настоящим туристом по Южному берегу и посетил в числе прочих мест Бахчисарай...» [7, с. 78]. Однако в действительности «сначала» Пушкин в Крыму посетил Керчь и Феодосию, где наличествовала не очень удачная попытка реализовать иной тип путешествия – так называемого «ученого» путешествия. Художественно «Киммерия» тогда не была «построена» (хотя позже на рукописи «Евгения Онегина», где шла речь о демонической сущности главного героя, поэт нарисовал по памяти удивительно точные контуры Золотых Ворот Карадага, входа в Аид по представлениям древних греков). Пушкин был разочарован видом «Митридатовой гробницы» и стершимися «следами Пантикапеи». Однако в ходе своего «четвертого», воображаемого, не лишённого известной знатокам мистификаторской составляющей путешествия по Крыму уже переставший быть только романтиком поэт отчасти снова возвращается к исходному типу (с «Тавридой» Боброва в руках!).

Кто будет спорить, что пушкинский образ Крыма оказал на современников и потомков куда большее воздействие, чем впечатления предшественников и последователей Пушкина?

*В размеры стройные стекались  
Мои послушные слова  
И звонкой рифмой замыкались.  
В гармонии соперник мой  
Был шум лесов, иль вихорь буйный,  
Иль иволги напев живой,  
Иль ночью моря гул глухой,  
Иль шепот речки тихоструйной.*

В качестве аргумента для подкрепления своей позиции М. Строганов дает подробный обзор творчества забытого пушкинского эпигона Ивана Бороздны, многое заимствовавшего как будто бы у Пушкина: «Пред тихоструйною рекою». Однако сам Пушкин создавал подобные эпитеты по образцу Боброва: «Но при Бельбеке тихо-шумном», т. е. Бороздна через пушкинское посредничество заимствовал крымские реалии у Боброва, как это делал и Пушкин, по его достаточно известным собственным признаниям. Имя И. Бороздны было извлечено из забвения для полемических целей, сосредоточенных на «отсечении» Семена Боброва от «Крымского текста» и русской поэзии как таковой (тут проявляется истинно катоновское у М. Н. Строганова: «Бобровский Карфаген должен быть разрушен!»). «Как писал в стихотворении “К А. С. Пушкину” (1828) И. П. Бороздна, читатели Пушкина изучают географию не по картам и руководствам путешественников, а по его поэмам», – утверждает М. Н. Строганов. Однако сам Пушкин воссоздавал в поэзии крымские реалии с «Тавридой» С. Боброва в руках (или в голове). Чего стоит его хорошо известное специалистам признание о желании оттуда «что-либо украсть» [13, с. 80]. А «кража» И. П. Бороздной выше упомянутого бобровского эпитета через голову Пушкина произошла, как у Шуры Балаганова, «машинально». На тему *Пушкин и Бобров* много писали, в частности, такой участник конференции, как С. А. Фомичев (но его в числе авторов сборника нет).

Ясно, что и Батюшков, и Пушкин – поэты для русской литературы в целом более значимые, чем С. Бобров. Однако собирались же для выделения именно Крымского текста, а не за тем, чтобы повторить общие прописи. Заданный Батюшковым и Пушкиным образ романтической Тавриды имел определенные историко-литературные рамки, в один прекрасный момент превращаясь в симулякр, о чем говорили, в частности, французские участники конференции. Исторически же отцом-основателем Крымского текста во всем его многообразии стал именно С. Бобров, в лице которого крымская тема вошла в русскую литературу сразу же в своем самом масштабном выражении. Фигура И. Н. Бороздны явно проходная, М. Строганов не скрывает, что вспоминает его только ради того, чтобы продемонстрировать его подражательность Пушкину.

«...Повторим еще раз, никаких журчащих фонтанов в Бахчисарае нет», – вводит несведущего читателя в заблуждение М. Строганов (доказывая, что стихотворное «журчание» могло быть позаимствовано только у Пушкина же) [7, с. 81]. Однако зачем «повторять» то, что действительности не соответствует? Неподалеку от не журчащего и хрестоматийного Фонтана слез с 1733 г. до сих пор в Бахчисарае реально журчит предназначенный для ритуальных омовений Золотой фонтан (это не говоря об обычных городских фонтанах). Ложен и такой авторитетный крымоведческий посыл: «...Даже в советское время посещение помещений гарема было недоступно для экскурсантов» [7, с. 82]. Проведение экскурсий по гарему как составной части экспозиции ханского дворца было во время студенческой практики для меня трудовыми буднями.

«Не только жить в Крыму, но даже побывать в Крыму вовсе не обязательно для того, чтобы участвовать в формировании Крымского текста», – делает заключение М. Строганов [7, с. 82]. Однако филологам, стремящимся исследуемый материал как-то концептуализировать, знание минимума реалий все же не повредит. Иначе получится воображаемый научный туризм.

Эффект наличия мобильных технологий может изменить природу видения мира. «Статичные» формы туристского взгляда (*gaze*), такие как «созерцание с балкона», сосредоточены на двухмерном восприятии формы, красок и деталей пейзажа, лежащего перед человеком, картины, которую можно увидеть глазами [24, с. 222]. «Подобная статичность присуща взгляду, направленному сквозь неподвижный фотообъектив. И наоборот, то, что исследователи именуют «мобильным зрением», подразумевает быстро меняющуюся панораму, чувство многомерного стремительного движения и плавной взаимосвязанности мест, людей и возможностей (подобно натиску образов в телевидении и кинематографе). Существует множество беглых взглядов (*glances*) туриста – «захват» видов из окна вагона, через ветровое стекло автомобиля, сквозь иллюминатор парохода, через глазок видеокамеры» [16].

Одна из статей сборника работ западных славистов «Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XIX века» на академической почве обостряет проблему такой «беглости». Славистка из Гамбурга Дагмар Буркхарт в статье «Путешествия Осипа Мандельштама в Крым: поэтическая медиализация» делает по ходу дела заявку на новый глобальный «Крымский текст» – вопреки некому «Люзый» (тем самым как бы насыщая мою фамилию дополнительным свистом южного ветра, *Süd*, немаловажного понятия в общей концепции автора статьи).

Д. Буркхарт утверждает, что «для А. Люзыго» (*так в тексте!* – А. Л.), напротив (? – А. Л.), русская литература является всеохватывающим понятием, в которое вписывается и Крымский текст»; сразу же оговорю,

что смысл первой части этого сложно-подчиненного предложения безоснователен. Сама же Д. Буркхарт, «ориентируясь на такие понятия, как “Петербургский текст”, “Кавказский текст”, “Итальянский текст”» выражает желание охватить «Крымским текстом» более глобальную целостность, от античных мифов об Артемиде и Ифигении до фильма А. Попогребского и Б. Хлебникова «Коктебель». Крымский текст тут – это «глобальный текст, в целом тематизирующий природу и культуру региона “Крым”, который писался рядом авторов в течение более чем двух столетий» [1, с. 127].

Отметим, однако, что автор концепции Петербургского текста, вызвавшей «текстуальную революцию» в гуманитарном знании, В. Н. Топоров оговаривал интенсивный, а не экстенсивный характер данного концепта, т. е. сущность имеющего «ядерную» структуру локального текста культуры – не в глобальном охвате, а в самоцитировании.

В качестве методологической базы для своего текстостроительства Д. Буркхарт избирает известные работы Эдварда Саида об ориентализме как культурном колониализме [14], а также «Топографию чужого» Б. Вальденфельса. Что получается в итоге? «Художественный хронотоп (в котором, по Бахтину, пространственные и временные свойства сливаются в одно многосмысленное текстуальное целое) в случае Крыма (Крым по-монгольски — “крепость”) с исторической точки зрения представляет собой греко-скифско-татарско-генуэзско-еврейско-османскую территорию; она была захвачена и аннексирована Россией в 1783 году...» [1, с. 128]. В действительности, «захватчиками» по отношению к Крыму были четыре из пяти перечисленных с «исторической» точки зрения, которые почему-то противопоставляются какой-то «неисторической» в данном контексте России (а вполне «эндемичные» тавры, поделившиеся с греками культом Девы, не упомянуты вообще).

Мне уже приходилось дискутировать в защиту самого имени Э. Саида [10, с. 74–75]. Но теперь ситуация сложнее. И Российская империя, и Советский Союз в работах самого Э. Саида упомянуты лишь мельком, в основном как объект американской или западной политики [2, с. 326]. Бегло отмеченные им особенности внутренней и внешней российской колонизации не противоречат установленному А. Тойнби историческому ритму вызова и ответа, а также концепции Д. Харви о «территориальной логике власти» [20, с. 79]. Подробно разбирая роль европейской беллетристики XVIII–XX вв. в распространении ориенталистских стереотипов, Саид из русских классиков вскользь упомянул лишь Льва Толстого, вообще не коснувшись ни Александра Пушкина, ни Михаила Лермонтова при всем значении для их творчества восточной экзотики. Э. Саид предупреждал, что русский ориентализм требует дальнейшего изучения, оговаривая его отличие от «классических» европейских образцов (и при этом указывал на более «чистое» в научном отношении

прошлое немецкого ориентализма, в отличие от однозначно «колониального» британского и французского).

Впрочем, Саида недавно попробовала «пересайдить» Ева Томпсон в книге «Трубадуры империи: Российская литература и колониализм» (Киев, 2006), но я бы не советовал двигаться в русле такой неисторичной, идеологически вымороченной трактовки с ярко выраженным «саидизмом» по отношению к фактам, что обесценивает ряд верных замечаний. Так, откровенно «колониальному» Пушкину, следовавшему байроновской модели описания «экзотических» народов, противопоставляются не современные ему европейские авторы, а прежде всего более ироничный, но при этом куда более поздний литературный «колонизатор» Джозеф Конрад (1857–1924). «Пушкин цитирует турецкую поэму, которая сравнивает набожный (и поэтому, вероятно, непобедимый) Арзрум со Стамбулом, который обречен на падение потому, что не придерживается предостережений Корана. Автор этой поэмы, оказывается, ошибся: Арзрум пал перед россиянами» [15, с. 111].

Получается, Томпсон бесхитростно попадает в расставленные Пушкиным «колониальные» сети литературной мистификации. Давно установлено, что янычар Амин-Оглу, сатирическую поэму которого якобы цитирует Пушкин в «Путешествии в Арзрум в 1829 году», – лицо вымышленное, элемент литературной игры (это не перевод, а оригинальные стихи).

Однако даже если принять всерьез посыл «перевода», вряд ли этот опыт проникновения вглубь «восточного» мышления трактуется как примитивное торжество победителя. Во включенном Пушкиным в «Путешествие в Арзрум» отрывке «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830) содержится не столько усмотренное Томпсон мелковатое уличение своего персонажа в ошибочности, сколько поэтическая солидарность с ним, поверх сиюминутных событий. «Обманной», между прочим, оказывается и параллель соперничества между Арзрумом и Константинополем и между Казанью и Москвой. Ведь в начале XIX в. никаких существенных оснований для противостояния Москвы и Казани уже не было. В данном случае речь идет, скорее, о соперничестве Москвы и Петербурга. Описание Стамбула во многом напоминает описание Петербурга из «Евгения Онегина», живущего по образцу Парижа. «Арзрум, не спящий в «роскоши позорной» и не черпающий «чашей непокорной в вине разврат, огонь и шум», вполне сопоставим с матушкой-Москвой, которая встречает путешественников своими белокаменными храмами и колокольнями: «Но вот уж близко. Перед ними Уж белокаменной Москвы, как жар, крестами золотыми Горят старинные главы...» Если в Арзруме до сих пор «строги законы», то лейтмотивом в изображении Москвы становится традиционность и семейственность» [6, с. 81].

При этом благодаря способности к поэтической коммуникации Пушкин интуитивно постиг глубинные процессы, назревавшие в обеих империях – и Российской, и Османской, развернувшиеся в следующем веке именно в отмеченных им формах (Стамбул «раздавят», но «не таков Арзрум»), т. е. падение Османской империи исторически неизбежно, как и исходящее из глубины страны возрождение новой Турции [9, с. 159–160]. И эта формула отнюдь не потеряла актуальности для понимания современных событий на Ближнем Востоке, спровоцированных последними неоимперскими «крестовыми походами». Однако в общеимперской сравнительной ретроспективе Томпсон хватает духа «добежать» только до канадской границы, как героям рассказа О'Генри «Вождь краснокожих» (но с канадской же стороны).

«Толстой придал мифологическое измерение российской истории XIX ст., подобно тому, как Редьярд Киплинг придал мифологию “доброто” колониализма британским деяниям в Индии» [15, 162]. Иными словами, никакой «Хаджи-Мурат» (а до этого «Рубка леса») не может послужить «прощением» Льву Толстому за текстуально-имперский «грех» романа «Война и мир»! Конрад, конечно, писатель интересный, но для литературной самокритики здесь более важен все же Велимир Хлебников, писавший об историческом долге русской литературы перед многими народами, который, по мере сил, отдается современными писателями (Алексеем Ивановым, Вадимом Штепой и др.).

Э. Саид в «Ориентализме» отмечал, с одной стороны, усиленное финансовое стимулирование ориенталистских исследований, с другой – отсутствие у последних самокритики [14, с. 150]. То же самое теперь порой наблюдается у нынешнего посториентализма с постколониально вывернутым лицом, если судить по материальным условиям проведения конференций по постколониализму. Моему оппоненту по предыдущей главе М. В. Строганову удалось получить финансирование от международной неправительственной организации на проведение, конечно же, содержательно очень интересной Международной конференции «Русское болото» в апреле 2010 г. А вот в аналогичной поддержке конференции «Русский лес» было отказано. Знаменательное стилистическое предпочтение!

Отметим при этом значительный вклад самой госпожи Буркхарт в исследование русской литературы в целом. Явно неудачными оказались у нее только поиски Саида в Крыму. Принимаясь за критику российского ориентализма, необходимо учитывать, что появление «своего Востока» для России означало возможность подтверждения статуса Европейской державы [3, с. 57]. Русские историки конструировали идентичность России, противопоставляя его другому пространству – по аналогии с западной традицией, в параллель с европеизацией России. Россия была и объектом, и субъектом ориентализма. Свой «непросвещенный»,

«нецивилизованный», дикий «Восток» в процессе формирования идентичности России выполнял функцию «Другого», но роль Крыма далеко не исчерпывалась в качестве способа такой ориенталистской европеизации.

«Крым стал местом национальной самоидентификации русского образованного общества в смысле отторжения (? – А. Л.) последним Востока», – придумывает свою схему Д. Буркхарт [1, с. 128]. Во-первых, не отторжения, а просвещения. Во-вторых, собственно национальной самоидентификацией всегда лучше было заниматься в гуще своей собственной нации. Для образованных Крым стал в первую очередь вариантом «своей» античности, т. е. местом идентификации с мировой культурой, еще одним – и античным, и ориентальным «окном в Европу». А теперь и «окном в Саида» – хорошо бы вместе с «Бахчисарайским фонтаном», благодаря которому крымско-татарская культура вошла в мировой контекст. Механический перенос схем Э. Саида на постсоветское пространство, без учета местной специфики, к примеру, работ крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского (1851–1914), проповедника славяно-тюркского культурного единства, продуцирует теперь новейший методологический колониализм, при всех заявках на постколониальность.

Не все начиналось Саидом, не все им и продолжено. Роберт Ирвин недавно показал недостаточность научного базиса самого Саида, при всех его попытках поколебать традиционные академические ценности, а также его невосприимчивость к иронии и юмору европейских и американских писателей и мыслителей («либеральных героев культуры»), ревность к действительно научным познаниям и полиглотству ученых-ориенталистов. Ирвин ссылается на мнение разных, в том числе и арабских ученых, в частности, на отмеченное последними более слабое знание Саидом «восточной» истории по сравнению с «западной» [23].

Мы – паломники и в пространстве, и во времени, переосмысливает З. Бауман Св. Августина в современном глобальном контексте [20, с. 22]. Текст культуры – общая схема такого непрерывного паломничества. Структура туристского продукта, пишет В. Н. Волков, рассчитана на то, чтобы накопить впечатления и расширить культурное пространство в максимально сжатый временной срок. Путеводитель, карта маршрута, памятка туриста, описание услуг, цены, фотографии – все это упрощает процесс разгадывания кодово-знаковой системы незнакомой культуры [4, с. 81]. Не претендуя на упрощение, текстологическое измерение туризма придает вертикальное измерение данной пространственной структуре, а туристическая рефлексия придает динамику локальному тексту культуры.

**Использованная литература:**

1. Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX в. / ред.-сост. Г. Тиме, В. Киссель. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
2. Бобровников В. О. Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // *Ab imperio*. 2008. № 2. С. 352–344.
3. Власюк О. А. Ментальная карта как способ репрезентации пространства русскими историками второй половины XIX в. // Историческая память, власть и дисциплинарная история: материалы междунар. науч. конф. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический университет, 2010.
4. Волков В. Н. Туризм в эпоху постмодерна // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. М.: Аналитика Родис, 2012. № 1. С. 77–86.
5. Волошин М. Коктебельские берега. Симферополь: Таврия, 1990.
6. Каптушева Л. М. Интертекст «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина // Филология, журналистика и культурология в парадигме социогуманитарного знания: материалы 55-й науч.-метод. конф. «Университетская наука – региону». Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т, 2010.
7. Крымский текст в русской культуре: материалы междунар. науч. конф. / под ред. Н. Букс, М. Н. Виролайнен. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2008.
8. Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 2003.
9. Люсый А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М.: Русский импульс, 2007.
10. Люсый А. П. Сусанин – XXI. Слависты в поисках ориентиров понимания // Вопросы культурологии. 2008. № 1. С. 73–73.
11. Манн Ю. В. Петербургский и Московский тексты в творчестве Гоголя: принцип дополнительности // Петербургский сборник. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского унта, 2005. Вып. 4: Существует ли Петербургский текст? С. 193–204.
12. Пospelов Г. Г. Полнощный и полуденный края в мироощущении пушкинской эпохи // Искусствознание. 1999. № 2. С. 290–298
13. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Л.: Изд-во АН ССР, 1937. Т. 13: Переписка, 1815–1827.
14. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006.
15. Томпсон Э. Трубадуры империи. Российская литература и колониализм. Киев: Основа, 2006.
16. Урри Д. Взгляд туриста и глобализация // Критическая масса. 2003. № 2. С. 124–132.
17. Хиллман Д. Аналитическая психология. СПб.: Библиотека Сербского креста, 1996.
18. Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник Вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990.
19. Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века. М.: Наука, 1979. С. 5–29.
20. Bauman Z. From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity // Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications, 2000. P. 18–35.
21. Brenner R. What is, and what is not, imperialism? // Historical Materialism. Vol. 14. № 4. P. 79–105.
22. British Perspective // Tourism Geographies. 2000. Vol. 2. № 3. P. 264–289.
23. Irwin R. Edward Said's shadowy legacy: Tricky with argument, weak in languages, careless of facts: but, thirty years on, Said still dominates debate // The Times. May 7, 2008 [Electronic resource] // The Times. URL:



[http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts\\_and\\_entertainment/the\\_tls/article3885948.ece](http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article3885948.ece)  
(Accessed March 21, 2014).

24. Parr M. Boring Postcards. London: Phaidon Press, 1999.

25. Pratt M. Imperial Eyes. London: Routledge, 1992.

### **Discus-Touristics: a Textual Dimension of Tourism Reflection**

LYUSY Alexander P., Cand. Sci. (Theory and History of Culture), Senior Researcher,  
Department of Fundamental Research of Culture,  
Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage, Moscow, Russia  
E-mail: allyus1@gmail.com

*The first remained inscription in Old Russian language (Tmutarakan stone, 1068) is treated as expression of ritual numerologichesky, textual and in a certain measure of tourist initiation, and the local text of culture - as the general scheme of continuous pilgrimage in space and time, quite often getting a debatable form. On the historico-literary material is shown that textual measurement of tourism gives vertical measurement to spatial structure, and the tourist reflection gives dynamics to the local text of culture.*

**Keywords:** *tourist reflection, mental map, semantic wars, local text, medialization, identity.*

